

БОЛЬШОЙ
РОМАН

АНУРАДХА РОЙ

Жизни, которые мы не прожили



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(5Инд)-44
Р 65

Anuradha Roy
ALL THE LIVES WE NEVER LIVED
Copyright © 2018 by Anuradha Roy
First published in Great Britain in 2018 by MacLehose Press
The right of Anuradha Roy to be identified as the Author of the Work
has been asserted by her in accordance with the Copyright,
Designs and Patents Act 1988
All rights reserved

Перевод с английского Татьяны Савушкиной

Оформление обложки Виктории Манацковой

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-15836-8

© Т. А. Савушкина, перевод, 2019
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство ИНОСТРАНКА®

Моей матери
Шейле Рой
и
Шейле Дхар
(1929–2001)

Это книга памяти, а у памяти своя собственная история.

Тобиас Вулф. Жизнь этого парня

Тагор очарован... Кажется, многое из того, что утеряно в Индии, сохранилось на Бали.

Вальтер Шпис. 21 сентября 1927 года

В детстве я был «мальчиком, чья мать сбежала с англичанином». На самом деле он был немцем, но в маленьких индийских городках в те времена любой белый иностранец почти всегда считался именно выходцем из Англии. Такое пренебрежительное отношение к фактам вызывало раздражение у моего отца, ученого, даже в обстоятельствах столь печальных, как уход его жены к другому мужчине.

День, когда она ушла, ничем не отличался от других. Утро в сезон дождей. Мне было девять, и я учился в школе Сент-Джозеф, что была расположена неподалеку — всего пятнадцать минут на велосипеде. Мой тогда был мне еще слегка высоковат. На мне школьная форма: белая рубашка, синие шорты и ботинки, блестящие черные утром и пыльные коричневые днем. Гладкие волосы, подстриженные ровно, чуть выше линии бровей, по утрам липли к голове мокрой шапочкой. Стригла меня обычно мать: усаживала на табурет во внутреннем дворике рядом с кухней, и последующая получасовая процедура сопровождалась только фразами типа «Долго еще?» и «Не двигайся».

Каждое утро я тренькал звоночком на своем велосипеде до тех пор, пока не появлялась мать в помятом с ночи

сари, с заспанным лицом и растрепанными волосами. Выходила на веранду, приваливалась всем телом к одной из белых колонн так, будто сейчас заснет опять, стоя. Вставала она поздно, что зимой, что летом. Нежилась в постели, пока могла, крепко обнимая подушку. Меня расталкивала и собирала в школу Банно Диди, моя айя¹, а я уже поднимала мать. Она звала меня своим будильником.

Внешний вид ее не заботил, но выглядела она всегда великолепно, хоть наряженная в свое лучшее сари, хоть с пятнами краски на лбу. Когда она рисовала на улице, сидя на солнце, то надевала широкополую шляпу с красной лентой, под которую подтыкала цветы, кисти для рисования, перышки — все, что привлекло ее внимание. Ни у кого из моих друзей не было матери, которая бы носила шляпу, или лазала по деревьям, или подбирала подол своего сари, или каталась на велосипеде. А у меня была. В самый первый день, когда она только училась держать равновесие, ее было не остановить: она вихляла из стороны в сторону, падала, слизывала кровь с царапин и снова забиралась в седло, — при этом перемежая крики со смехом и, по выражению отца, скаля зубы как волчица. Помню момент, когда она въехала в цветочные горшки, выставленные рядком вдоль передней веранды: длинные волосы растрепались, глаза засверкали, а сари порвалось на колени. Но она тут же вскочила на ноги и направилась обратно к велосипеду.

Я не припоминаю ничего необычного в поведении матери в часы накануне ее бегства с англичанином, который на самом деле был немцем. В то утро пузатые сизые облака зависли в ожидании так низко, что до них можно было дотянуться. Мать вышла, чтобы проводить меня в школу, глянула в небо и, ойкнув, зажмурилась — ее окатило дождевыми брызгами.

¹ Айя — няня или служанка из местных жителей.

— Так с ночи и льет, — проговорила она.

Большие деревья, в тени которых стоял наш дом, влажно поблескивали, и, когда ветер сотрясал их ветви, с мокрых листьев стекали струйки дождевой воды.

— Тучи такие хмурые, день обещает быть чудесным. Будет все лить и лить, а когда выйдет солнце, прямо отсюда до железнодорожной станции раскинется радуга. — Мать вытерла лицо краешком своего сари. — Лучше поторопись, тебе нельзя промокать. Есть запасная рубашка в портфеле? Не сиди в классе насквозь мокрым, заболеешь.

Я уже собрался идти, как она сказала:

— Постой. Оставь велосипед и подойди сюда.

Мать крепко обняла меня и долгую минуту не выпускала из объятий, целуя сначала в макушку, потом в лоб. Я заерзал, стараясь высвободиться: не был привычен к липким проявлениям нежности с ее стороны, а потому почувствовал себя неловко и смутился. Но от ее прикосновений меня охватила пронзительная радость, и я закрутил педалями в надежде, что она увидит, как быстро я несусь по лужам, взбивая грязь.

— Не забудь, что я сказала! — крикнула она. — Не опоздай!

— Успею! — прокричал я в ответ. — Я быстро поеду.

Когда я был маленьким, у меня случались приступы лихорадки: я просыпался весь в огне, с ощущением, что голова моя запрокинута и свешивается над ведром, и кто-то льет на меня, кружка за кружкой, холодную воду. Если со мной делались судороги, то все, что я мог вспомнить после, — это страшная усталость, испарина и голос матери над ухом: «Он поправится? Он поправится?» Дед командовал: «Дыши глубже» — и прикладывал стетоскоп к моей груди. Склонял ко мне свою белоснежную голову

и светил в рот фонариком. «А-а-а...» — тянул он. Потом готовил горькие микстуры, которые разливались по бутылочкам с мерной насечкой и закупоривались пробкой. В комнате было тихо. По ней весь день плавали тени, и мне были слышны лишь шуршание ткани, отмечающее приход и уход матери, взволнованный шепот, тихий стук, с которым бутылочка водворялась обратно на полку, да плеск льющейся в стакан воды. Тут я опять проваливался в темноту.

Дома меня звали Мышкиным, и, в отличие от детских прозвищ, которые вместе с людьми, что их использовали, становятся далеким воспоминанием, домашнее имя ко мне приросло. Я получил его из-за моих судорог. «В честь князя Мышкина, страдавшего эпилепсией аристократа, из романа Достоевского „Идиот“», — объяснил дада¹.

— Я не идиот, — заявил я.

— Вот прочитаешь «Идиота» и захочешь им стать, — ответил он. — Именно невинные делают человечество человеческим.

Из-за приступов лихорадки и припадков родственники меня жалели и не скупилась на советы, что мою мать страшно злило. Однажды, когда я поднимался по лестнице на крышу, гостивший у нас тогда дядя из Карачи постучал по моей ноге линейкой и объявил моему отцу:

— Видишь, как коленка дернулась? Это верный признак костной болезни: неудивительно, что мальчишка такой хилый. Знаю я одного человечка. Дам тебе его адрес. Он по всей Индии лекарства рассылает.

Дядя этот изображал из себя всезнайку — моя мать этого на дух не переносила. О чем бы речь ни зашла, будь то о ботанике или архитектуре, он обо всем говорил уверенно, со знанием дела. Колонна никогда не была просто ко-

¹ Дада — дедушка.

лонной, она обязательно должна была называться либо дорической, либо коринфской, а когда он проходил мимо большой церкви на углу Белл-Метал-роуд, указывал мне на «летающие арки» аркбутанов и потом покачивал головой, когда я пытался высмотреть в небе, что же там такое летает. Мать спросила его, как он понял, что у меня слабые кости.

— Элементарно, — ответил он. — Я едва не получил степень по медицине. Но предмет был уж больно скучным. — Развернулся ко мне: — Скажи-ка, что тяжелее: килограмм железа или килограмм шерсти?

Я почувствовал растущее напряжение — вопрос наверняка был с подвохом — и, не дав себе времени хорошенько подумать, выпалил:

— Железа.

— Подумай еще разок, — усмехнулся он. — Подумай еще разок, мой мальчик. Килограмм тяжелого вещества весит ровно столько, сколько и килограмм легкого.

Дядя легонько постучал линейкой по моей голове и продолжил:

— Нельзя же повсюду быть слабым, так? Если уж тело слабо, надо укреплять ум! Чтобы развить ум, ты должен сделать упор на изучение шахмат. Алехин, Тарраш, Капабланка! Все это великие умы в немощных телах.

Я ничего не знал ни об этих гроссмейстерах, ни об их немощных телах. Мог только кивать и обдумывать план побега, но мать делала все от нее зависящее, чтобы этот дядя больше у нас не останавливался. «У Мышкина ветрянки; у сына Банно корь; у кхансамы¹, похоже, холера. Лишняя осторожность не повредит», — писала она в ответ на его послания с просьбами погостить. Она постоянно

¹ *Кхансама* — мужчина-повар, часто выступает в роли дворецкого и домоправителя.

ссылалась на продолжительные и заразные болезни, а если кто-нибудь обращал внимание на то, что в череду инфекционных заболеваний в семье, где имеется доктор, верится с трудом, говорила: «Чем откровеннее лживость отговорки, тем очевиднее правда».

С возрастом приступы лихорадки и судороги случались все реже. Как выяснилось, это была не эпилепсия. По несколько недель, потом месяцев, а потом и целый год болезнь себя никак не проявляла. После второго года затишья дед прекратил запихивать мне в рот градусник при малейшем намеке на вялость, а родственники бросили предлагать шарлатанов, вылечивших очередного внучатого племянника волшебными зельями, которые полагалось пить в ночь новолуния. Через три года припадки стали историей из прошлого, хотя их последствия я ощущаю и сейчас: болезнь навсегда повредила мне зрение. С шести лет я ношу очки, и от года к году линзы делаются все толще. Без них мир для меня превращался в картину наподобие тех, которые моя мать временами перерисовывала: легкие мазки одним цветом тут, другим там, и вот перед вами видение озера с лодкой или пруда с лилиями.

Иногда я снимаю свои протезы, чтобы видеть так, как другие. Цвета и слова переливаются друг в друга, значения меняются прямо на странице. На расстоянии все обращается в размытое пятно пастельного оттенка. Тем, у кого слабое зрение, доступно некое умиротворение, которого видящие ясно никогда не познают.

На дворе 1992 год. За плечами у меня почти шестьдесят лет, минувших с той поры, и вдвое меньшее количество изношенных очков. Вокруг дома теперь царит такое запустение, что я стал снимать их все чаще: так груда мусора за моими воротами превращается в яркое скопление красок, а рекламный щит позади принимает вид нечеткого сине-желтого прямоугольника, вполне сошедшего бы

за бунгало, что стояло здесь, пока его место не занял многоквартирный дом с глазами, прикрытыми ставнями.

Что не изменилось, так это радостное волнение, с которым я жду появления почтальона. На днях оно было вознаграждено: пришла бандероль. Пухлый авиаконверт, объемистый, с маркой, которая сообщила мне, что посылка пробыла в дороге три недели и добиралась аж из канадского Ванкувера. Я положил ее на комод. Каждый день я достаю посылку, взвешиваю на ладони, беру нож, чтобы разрезать конверт, и возвращаю ее на прежнее место. Она имеет отношение к моей матери, — я знаю это и все не решаюсь ее вскрыть. А вдруг там нет ничего важного?

А вдруг есть?

На следующее утро после получения бандероли я проснулся от дружного воя моих собак неизвестно по какому поводу, и в тот самый момент меня вдруг совершенно захватила одна-единственная мысль: я просто обязан составить завещание. Есть вещи, которые мне бы хотелось сохранить в людской памяти, — их я и должен увековечить. То, что хотелось бы стереть, нужно уничтожить. Несколько молодых саженцев требуют посадки, пусть я и не увижу, как они вырастут в большие деревья. Надо удостовериться, что мои собаки не останутся без присмотра, что у Илы будут хоть какие-то средства на жизнь. Она вдова, живет в главном доме с дочкой и внуком. Ее зять служит в торговом флоте, и его по полгода не бывает дома. Она полагается на меня.

В мои шестьдесят с небольшим уверенность в том, что время мое подходит к концу, ничем не обоснована, однако я уже несколько лет чувствую, как земля подо мной пошатывается на своей несурзаной оси. Можно было бы отложить свои мрачные размышления на потом и вскрыть бандероль, но я решаю этого не делать. Вон она лежит пока, пульсирует энергией, что есть у каждого нераспечатанного письма в этом мире.

И почему я ее не вскрываю? В конце концов, что в ней будет такого, чего я не знаю? Откладываю удовольствие или опасаясь того, что могу там найти?

Там, возможно, фотография или рисунок моей матери — а может, и нет. Было время в моей жизни, давным-давно, — мне было тринадцать, и я только начал курить, — когда я думал, будь передо мной ее снимок, прижал бы тлеющий кончик сигареты к ее глазам, как я проделывал с теми похожими на кусочки резины серыми клещами, что прятались в шерсти моего пса. Ослепил бы ее. Уничтожил бы заклятье, наложенное присутствием ее отсутствия.

Тут же ужаснувшись самому себе, я принимался стрелять по бутылке из своей старой пневматической винтовки или косить серпом высокую траву в глубине сада, только бы избавиться от тошноты, вызванной такими мыслями.

Для меня составление завещания не должно стать столь важным событием, каким оно бывает у людей более богатых и успешных: им-то приходится побеспокоиться о своем богатстве и недвижимости, а у меня добра немного. Живу я там же, где и родился, — не в том самом доме, правда, а в небольшом старом строении рядом. Я никогда отсюда не уезжал, за исключением тех нескольких лет, когда отправился в Нью-Дели на свою первую работу. Трудился я под началом англичанина по имени Алик Перси-Ланкастер, который после объявления независимости отвечал за разбивку общественных городских садов, высадку деревьев вдоль авеню и управление государственными питомниками растений. Мне было двадцать, когда я уехал, и вполне мог бы там устроиться, но долго я в Нью-Дели не продержался. Мне был нужен Мунтазир и ощущение близости плоскогорья. Когда в 1956 году мистер

Перси-Ланкастер решил уехать жить в Родезию, я вернулся домой. Записался на прием к окружному магистрату и сказал ему, что наш город достоин большего, чем обычный муниципальный департамент, занимающийся поливом парков и посадкой бугенвиллеи; необходима была единая садоводческая служба на весь округ. В ее интересы входили бы экология, городское планирование, ботаника, водное хозяйство — это была целая наука, ею должен был заниматься специалист. Я принес рисунки и планы города, на которых было видно, как можно превратить наш город в прекрасный зеленый оазис, как использовать его окрестности для сбора воды. Под конец мои речи утомили даже меня самого.

Для окружного магистрата это было его первое назначение, он был немногим старше меня и горел желанием изменить мир к лучшему. К моему удивлению, мои увещевания возымели действие, и новое подразделение было учреждено. Довольно долго его единственным работником был я сам — руководитель службы озеленения. Подчиненных у меня не было, вместо кабинета — лишь письменный стол в здании муниципалитета, но каждое утро я председательствовал на встречах с полудюжиной садовников и печатал никому не нужные протоколы, а остаток дня бродил по городу, делая заметки и повторяя про себя, что изменение ландшафта — дело не быстрое.

По делам службы я побывал на чайных плантациях Ассама и в садах Химачала, поработал консультантом в парке бабочек и советником по вопросам экологии в заповеднике, но я всегда возвращался домой, к своей работе садовника с громкой должностью в маленьком городке. У других есть банковские вклады с фиксированными ставками, деньги, дома, которые можно завещать потомкам, я же указываю на аллеи и говорю: «Вот что я вам оставляю». Показываю им ряд *Ceiba speciosa* перед зда-

нием суда, что каждый год окрашивается в ярко-розовый цвет. На дорогах, где я посадил попеременно красные и белые *Bauhinia*, их похожие на цветки орхидеи соцветия покрывают выщербленные мостовые мрачных маленьких пригородов, преобразая их на целые недели. Стайки бюльбюлей и попугайчиков прилетают, чтобы покормиться на их цветках; дебелие матроны просят мальчишек влезть на дерево и собрать им бутоны для готовки. Теперь, раз уж меня и так все считают чудачком, я без колебаний бросаюсь к этим дамам, угрожающе размахивая тростью:

— Оставьте бутоны в покое! Дайте цветам распуститься!

Они отходят от дерева, поругивая меня вполголоса: «Старый дурак, разорался на пустом месте». Обзывают меня брюзгой, беспросветным занудой.

Мне все равно. «Это мое наследие миру», — думаю я в торжественные минуты, подобные этим, когда передо мной лежит ручка с бумагой, на которой выведено только: «Я, Мышкин Чанд Розарио». Я оставляю этому миру деревья, что покрывают наш город тенью, фруктами, цветами. Я прожил достаточно, чтобы увидеть, как посаженные мною черенки превратились в великанов высотой сорок футов.

Размышлял об амальгасе¹ и о гульмохаре², растущих вдоль Бегум-Акхтар-марг, дороги неподалеку от станции. Я пустил в ход все свои связи, разослал письма редакторам и губернаторам, только чтобы дорога носила именно это имя — имя женщины, которая дарила миру любовь и музыку всю свою непростую жизнь, а улицы при этом

¹ *Амальгас* — кассия трубчатая (*Cassia fistula*), или дерево золотого дождя.

² *Гульмохар* — делоникс королевский (*Delonix regia*), или огненное дерево.

называют в честь политиков. Потом я высадил *Delonix regia* и *Cassia fistula* по всей длине дороги, носящей ее имя, в напоминание о романтичности и страстности певицы, и сейчас эта дорога полыхает фейерверками красного и золотого все лето напролет.

Помню, как бешено крутил педали по Бегум-Акхтар-марг, когда она еще была пустой, обожженной солнцем грунтовой дорогой, ведущей от школы к железнодорожной станции. Стояло лето 1942 года, и мне нужно было успеть добраться до вокзала до отхода поезда, потому что, по дошедшим до нашей школы слухам, поезд этот перевозил груз, доселе невиданный. Когда я подъехал к платформе, оливковой и зеленовато-коричневой от солдатских мундиров, собравшаяся там небольшая толпа разглядывала длинный состав с зарешеченными окнами и полицейских, стоявших навывтяжку у каждой двери. Зной, окутывавший поезд, звенел. Я дотронулся до одного из вагонов. Руку будто огнем обожгло. Полицейский осклабился и спросил, не хочу ли я залезть внутрь и тоже отправиться в тюрьму.

За окнами я смог разглядеть мужчин, выглядевших до такой степени потерянными, что их хватало лишь на то, чтобы уставиться наружу мертвыми глазами. В поезде были только белые мужчины. Они сидели, прислонив головы к решеткам на окнах; одни спали, другие бодрствовали, но пребывали в состоянии усталого оцепенения, ровно звери в зоопарке, которых затолкали в слишком тесные клетки. Осунувшиеся лица их были грязны, а головы облеплены засаленными, пропитанными потом волосами. На них садились мухи, но они их словно не замечали. За ними, в темной глубине отсека, виднелись еще люди, такие же, как и те, что сидели у окон. Ноги и руки бессильно свисали с верхних полок, где были свалены грудой спящие тела.

Мы никогда не видели, чтобы белые выглядели столь жалко. Изможденные болезнями и иссохшие почти до скелета индийцы были нам привычны, но белый человек не мог быть похож на них по праву рождения.

Я прошелся взад-вперед по платформе, пока вагон стоял. Поезда, перевозившие иностранных военнопленных, обычно проезжали через Мунтазир без остановок. Поговаривали, что задержка в тот день была вызвана необходимостью запастись питьевой водой и пищей; еще поговаривали, что несколько пленных умерли от жары и что их разлагающиеся тела пришлось выгрузить из-за начавшегося зловония.

Миль через двадцать, у подножия Гималаев, железнодорожная ветка, проходившая через Мунтазир, заканчивалась, и оттуда заключенных переправят в расположенный неподалеку Дехрадун, где они пробудут до окончания войны. Итальянских пленнх отправляли преимущественно в Раджастан, поляков в Джамнагар, а немцев — в Дехрадун: так, по крайней мере, писали в газетах. Лагерь в Дехрадуне был самым крупным: на то время в нем содержались заключенные из нескольких стран, — тысячи человек, прибывших издалека, — были даже пленные из Африки и Средиземноморья. Дед говорил, что в этом лагере был воссоздан весь мир в миниатюре.

Стоило поезду издать несколько нетерпеливых гудков и, испустив облако дыма, тронуться, как один из заключенных прижался лицом к окну. Голова его была обрита наголо и покрыта многочисленными язвами, над которыми кружили мелкие мошки. Расстегнутая на груди рубашка обнажила полоску сероватой кожи. Посмотрев мне прямо в глаза, мужчина улыбнулся. Поколебавшись с секунду, я побежал вдоль состава, на ходу выжывая из кармана несколько карамелек. Передал их мужчине в окно. Никто не остановил меня, школьника, гнавшегося за поездом. Я все бежал, пока не осталась позади тень желез-

ной крыши платформы, а сама она не уступила место поросшей травой грязи, и я не оказался под равнодушным, раскаленным добела небом, и голова моя не закружилась от неожиданно яркого света, и перед ослепленными солнцем глазами не поплыли разноцветные мушки.

Что же я надеялся найти на станции? Тогда я еще не знал, что ответы на сотню насущных вопросов, роившихся в моей голове, хранились у человека, лежащего в полнейшем одурении от жары в четвертом от головы поезда вагоне, который с каждым выбросом сажи удалялся от меня все дальше и дальше.

К тому времени, как мои глаза привыкли к свету, все, что я мог рассмотреть, так это тормозной вагон и солдата, стоящего в нем лицом к отдаляющейся станции с зеленым флагом в одной руке и кувшином воды в другой. Солдат запрокинул голову и вылил на себя воду, смочив лицо и рубашку.

У меня имеется давняя привычка делать заметки об интересных растениях и деревьях, которые попадают мне на глаза либо в ходе моих ежедневных прогулок по городу, либо во время путешествий, а в особенности тех вылазок, которые я совершал с двумя своими университетскими приятелями. Сейчас я обнаружил, что беглым ученым запискам и сопровождающим их рисункам по силам оживить в моей памяти прогулки по горам и болотам: долгие ночи в хлипких палатках; леопарда, которого мы как-то раз заприметили застывшим, как каменное изваяние, на ветви дерева и наблюдавшим за нами со скрытой злобой, заставившей оцепенеть от страха; реку, которая чуть не унесла меня, склонившегося слишком низко, чтобы рассмотреть поближе какое-то водное растение; скалу, откуда я чуть не сорвался, когда потянулся за камне-ломкой, до которой было слишком далеко. Ботанический

журнал. Карта моих странствий. Бывают дни, когда мне кажется, что весь мой срок на земле пролетел мимо размытой несвязной картинкой, мелькнувшей за окном автомобиля. В такие дни мои записки помогают мне замедлиться, возвращают меня в места из прошлого, дают им название и смысл. Заметка об отличиях *Datura suaveolens* (дурман душистый, или труба ангела, безвредный) от *Datura stramonium* (дурман вонючий, или колючие яблоки, ядовитый) пробудила в памяти всю сцену целиком. Я вспомнил обрывки наших споров той ночью о различиях между двумя этими растениями и то, как мы готовили рис в кастрюльке, а потом курили и говорили о вещах, которые обсуждают только в юности, сидя у костра за много миль от дома, под покровом ночи, когда не слышно звуков, кроме шепота деревьев, не ощущается запахов, кроме пьянящего аромата дурмана и резко пахнущих сигарет без фильтра. Я такой человек, что нуждаюсь в письменном тексте. Значение имеет только то, что зафиксировано: что-либо должно обрести жизнь на бумаге прежде, чем полностью оформится в моей голове. Смысл и структура выявляются лишь в последовательной цепочке слов.

Я отложил незаконченное завещание.

Бандероль лежит передо мной, так и не распакованная, — воплощение непостижимой для меня божественной силы. Пока я не перешел к подготовке организованного финала моей жизни, мне кажется необходимым изложить на бумаге то, что я считаю значимым для ее начала.

Когда я сел за сочинение тех записей, с которыми вы познакомитесь ниже, и постарался разобраться в годах собственного взросления, то понял, что имею лишь приблизительное представление о времени или о погоде в тот самый день, который я описываю, или о сказанных тогда словах, или о последовательности событий. Вместе с тем многое из того, что я хочу забыть, остается в моей памяти

до боли ярким. Образы мелькают в сознании подобно вспышкам света в темноте. Сперва я попытался проявить прилежание. Связался с двумя своими университетскими приятелями, с которыми ходил в походы, поспрашивал Дину: «Помнишь это? Неужели ты не помнишь того?» Его воспоминания так часто отличались от моих, что разговоры наши заканчивались ссорами. Я вернулся в места моего детства, чтобы проверить — правда ли существовали пещера у реки и готический особняк на краю Хафизабаха, куда дед меня как-то водил? Тогда на лужайке перед громадным домом паслись две лошади, а внутри находились кровати с балдахинами, узорчатые эмалированные умывальники, жардиньерки и бальный зал с пружинящим покрытием, куда заявился наваб¹ Хафизабаха в одной лишь грязной хлопковой рубаше и набедренной повязке лунги и с безумными глазами принялся уговаривать моего деда распродать за него все имущество из дома, потому что он был совсем без средств.

На берегу реки я обнаружил электростанцию; дым, который изрыгали ее четыре исполинские трубы, вытянул с неба все краски. Особняк в Хафизабахе никуда не делся, вот только одна его половина превратилась в грудку камней, а та, что выстояла, почернела от времени, ветра и дождя.

Рассказывая историю любой жизни и уж тем более своей собственной, нельзя делать вид, что мы пересказываем все именно так, как оно произошло. Воспоминания приходят к нам в виде образов, чувств, мимолетных видений, иногда насыщенных, иногда едва обозначенных. Время как кристаллизует, так и растворяет. Мы не помним

¹ *Наваб* (набоб) — наместник индийской провинции во времена Империи Великих Моголов; почетный титул представителей мусульманской знати в колониальной Индии.

в точности, сколько события длились: пару дней, неделю, месяц? Какие-то отрезки времени совершенно выпадают из памяти, другие по прошествии лет обретают значение судьбоносных. Думаю, так происходит у большинства. За те годы, что мы с друзьями спорили о деталях былого, ненадежность собственных воспоминаний подтолкнула меня к мысли, что я больше не смогу узнать себя на старых фотографиях, что черно-белое изображение на них принадлежит кому-то другому. Будете много думать — можете и умом тронуться.

В одном из стихотворений Рабиндранат Тагор пишет:

Я не помню своей матери.
Но когда ранним осенним утром
В воздухе разливается аромат шиули¹,
Запахом утренней молитвы в храме
Приходит ко мне ее запах².

Поэт потерял свою мать в четырнадцать лет; мне было всего девять, когда ушла моя. Как же объяснить тогда, что она всегда рядом, словно мое отражение в зеркале? Присутствует в каждой мелочи, но, плененная другой стихией, для меня недосыгаема. В памяти всплывают целые разговоры, происшествия, споры, ее глаза, подведенные сурьмой, свежие цветы в волосах, пятнышко красного кумкума³ на лбу, которое неизменно смазывалось к середине дня. Как она читала вслух стихи, чтобы я их заучил, какой была ее кожа оттенка чеканного золота, и какими раскосыми были ее глаза, и как в этих глазах плясал озорной огонек. Я уверен, что действительно это помню, а не выдумал все, полагаясь на рассказы и фотографии.

¹ *Шиули* (шефали) — никантес, ночной жасмин.

² Стихотворение Р. Тагора «Воспоминанье» также известно в переводе В. Левика.

³ *Кумкум* — порошок, используемый в индуизме для нанесения социальных и религиозных меток.

Правда, чем старше я становлюсь, тем я менее тверд в своей уверенности.

Одна из современниц моей матери — о ней я скажу позже — написала книгу воспоминаний о событиях, происходивших сорока двумя годами ранее. Я лишь могу представить неуклюжий перевод того, как она описывает механизм времени в работе памяти.

«Я спускалась по лестнице, дрожа всем телом... — пишет она и тут же перебивает себя, задаваясь вопросом: — Это случилось в тот самый день? У меня не может быть в этом уверенности. Я не вела записей, и сейчас пишу, не полагаясь на дневники или память. Не могу сказать, описываю ли я эти события именно в той последовательности, как они происходили, одно за другим. Но тогда казалось, что они следовали друг за другом, теперь же у них нет ни конца, ни начала. Сейчас все те дни разом пребывают в моем настоящем — и все же не получается растолковать. Почему это так трудно объяснить? Ведь Арджуна увидел всю Вселенную сразу, ее прошлое и настоящее, в открытом рту Шри Кришны. Я тоже так вижу. Придется вам мне поверить. Это не воспоминания, это мое настоящее. С каждой секундой я все ближе к 1930 году. Я чувствую 1930-й кожей».

Я своей кожей чувствую 1937-й.

Самое большое приключение, выпавшее на долю моей матери, случилось за несколько месяцев до ее свадьбы с моим отцом. В конце их ссор отец часто говаривал: «Твоя беда, Гаятри, в том, что все, чего ты хочешь, так это жить одними воспоминаниями. Великим прошлым». Он утверждал это спокойным тоном, к которому обычно прибегал в спорах — сначала с ней, потом со мной, — как будто являл собой единственное хранилище здравомыслия в кругу людей с повредившимся от страстей рассудком. Отец считал, что волю чувствам давать нельзя. А то они, вероятнее всего, сбегут вместе с вами. Если у матери был раздраженный вид, он говорил: «Теряя выдержку, ничего не обретаешь».

Когда мать заедала повседневность, она спасалась мыслями о веселом приключении из прошлого. По ее словам, в 1927 году, когда ей вот-вот должно было исполниться семнадцать, она со своим отцом, Агни Сенном, плавала на кораблике по одному из озер Бали. Они двигались по направлению к пришвартованному на середине озера плоту и, когда подплыли поближе, увидели на нем мужчину. Он лежал на спине, а лицо его было прикрыто соломенной шляпой, какие носят крестьяне в тех краях. Заслышав плеск весел, мужчина сдвинул шляпу с лица и поднялся

на ноги. Теперь, когда он стоял, можно было рассмотреть его высокую нескладную фигуру и золотистые волосы, которые отбрасывал назад ветерок. Ни дать ни взять скульптура на носу корабля. На нем была расстегнутая на груди белая рубашка с закатанными до локтя рукавами и брюки песочного цвета. Завидев компанию, мужчина зашелся от смеха: «В такой дали от Индии — а вы узнали, где я прячусь на Бали!» Он протянул Гаятри свою длинную загорелую руку: «Давайте-ка, пожалуйста на борт, раз уж вы здесь».

Мужчина оказался немецким художником и музыкантом по имени Вальтер Шпис¹. На протяжении следующих нескольких недель он брал Гаятри, ее отца и их друзей на танцевальные выступления, концерты, водил на пляжи, в школы живописи. Она сидела подле него, ощущая радостное волнение каждой клеточкой своего тела, а он пересказывал ей истории, разворачивающиеся перед ними в танце. Рама и Сита, Хануман и Равана — мифологические персонажи, которые были ей известны с детства. Здесь они были другими, но все же знакомыми. Как странно, что большинство людей вокруг думали, будто все действие Рамаяны разворачивалось на Яве и не имело совершенно никакого отношения к Индии! Гаятри поразило, что мифы и легенды, на которых она выросла, существовали в столь искаженном виде так далеко от дома. Как раз это и хотел показать ей отец, когда взял ее в путешествие по Ост-Индии.

В начале двадцатого века подобное было редкостью — сегодня едва ли можно представить, насколько большой. И дело даже не в том, что индийцы никогда не ездили за границу, просто для отца, каким бы богатым он ни был,

¹ *Вальтер Шпис* (1895–1942) — немецкий живописец и музыкант российского происхождения, основоположник современного искусства на Бали.

представлялось почти невыносимым тратить деньги на развитие способностей своей дочери. Девочкам предписывалось обладать талантами, но только такими, на которые можно было приманить будущего мужа. Однако Агни Сен занимал необычную позицию по отношению к тому, что его окружало: он мог уловить разницу между талантами и дарованиями и увидел в Гаятри искорку, которая при должном уходе могла озарить целые города. Он нанял учителей для ее обучения языкам, рисованию, танцам и классической музыке, и все это в эпоху, когда женщины пели и танцевали на забаву богатым, а над ними только насмехались. Он брал дочку с собой в музыкальные салоны и показывал, как работают художники. Водил сначала к историческим памятникам в Дели, а затем и к тем, что подалеже.

В одном из таких мест Гаятри, устроившись на валуне, делала набросок купола и проема двери, когда вдруг из окна выметнулась стая сизых голубей — единственных существ, обитавших в развалинах того дворца одиннадцатого века. Эта сцена подтолкнула отца к его обычным размышлениям о бренности империй, их взлете и упадке. Но потом он сказал Гаятри, что если она обратится внутренним взором в прошлое — к терракотовым статуэткам из долины реки Инд, к переливающимся драгоценным блеском росписям на стенах пещер, к покоящимся под землей ступам, а под водой — каменным храмам, и затем в настоящее — к этим гробницам и дворцам, обратившимся в руины, сквозь расщелины которых прорастает баньян, то она увидит, что мощь, деспотия и жестокость тех цивилизаций исчезли с лица земли, что правители пали, а их прислужники легли рядками в узкие мраморные гробы поближе к королю, вместе со своими женами и кошками, но красота, что была когда-то создана, уцелела. Филигрань на окнах, каллиграфия в камне, совершенство купола, который она пыталась запечатлеть. Создатели всего этого —

каменщики, скульпторы, художники — те, кому не досталось ролей в больших играх власть имущих, те, чей ум считался недостаточно развитым, чьи мнения не учитывались, чьи богатства ничего не стоили, — плоды именно их трудов сохранились, все остальное обернулось прахом. Когда наступали смутные времена и крах казался неминуемым, искусство было не развлечением, а прибежищем, обломки его уцелевали даже после того, как цикл развития от создания до разрушения изживал себя и запускался заново. «Державы рушатся, люди умирают, но красота побеждает время», — объявил он в манере, которая отличает мужчин среднего возраста, когда те передают свою мудрость молодому поколению.

Пока Гаятри слушала, ее карандаш летал по странице раскрытого блокнота. Купол начал обретать форму, ниже появилась арка. Три быстрых штриха, и вспорхнул голубь. Они отправились дальше — из Агры в некрополь Фатехпур-Сикри, потом в Джайпур. Она ехала верхом на слоне, прижималась к мерно покачивающейся спине верблюда, борясь с тошнотой, подступающей к горлу от вони. Верблюда зарисовала.

Когда Гаятри подросла, Агни Сен повез ее еще дальше, в Шантиникетан, вдохнуть воздух, которым дышали Рабиндранат Тагор и его ученики. В той поездке один из друзей, хорошо знавший поэта, рассказал, что Рабиндранат планирует отправиться на Яву в следующем году. Это знание осело в уме Агни Сена и проросло совершенно захватившей его навязчивой идеей: почему бы не сплавить туда с Гаятри, причем на одном корабле с поэтом? Когда ей еще представится возможность лучше, чем в стесненных условиях корабля, познакомиться с Рабиндранатом, поговорить с ним, научиться у него? Кто знает, во что это может вылиться для Гаятри? Рабиндранат должен был путешествовать в компании друзей, среди которых будет и Дхирен — тот самый, кто упомянул Агни Сене о планах

поэта. Письма летали туда и обратно, билеты на поезда и места на кораблях и пароходах были заказаны, паспорта запрошены; по итогам весьма непростой подготовки отец Гаятри, потратившийся и торжествующий, объявил о поездке своей дочери и семье. Они с Гаятри посмотрят Боробудур, Ангкор-Ват, храмы Бали. Он покажет ей общий для Азии культурный мир, который колонизация еще не поглотила.

Их плавание на Яву и Бали началось 12 июля 1927 года на судне, следовавшем из Мадраса в Сингапур. Предполагалось, что Гаятри с отцом будут путешествовать на одном корабле с поэтом и его друзьями и после многих дней совместного плавания и недели в Сингапуре уже самостоятельно отправятся дальше, в Малайю и Камбоджу, и окажутся на Бали как раз к приезду туда компании Тагора из их странствий. Мать Гаятри переживала, не был ли план поездки чересчур смелым, учитывая возраст Агни Сена и его проблемы с сердцем. Что за опасная, экстравагантная и затратная задумка! От нее отмахнулись.

Они стояли у палубного ограждения, когда на борт поднялся Рабиндранат, измученный трехдневной поездкой на поезде из Калькутты до Мадраса. Он прибыл с друзьями, людьми учеными и видными, которые окружали его плотным кольцом, защищая от назойливых почитателей. Агни Сену пришлось удовлетвориться самой краткой из возможных церемонией знакомства, Гаятри же вообще видела его только издали — приближаться было запрещено. Все складывалось совсем не так, как ожидал Агни Сен. Задетый собственническим пылом Дхирена, он спрятался за книгу.

Позднее они узнали, что поэта, который рассчитывал три дня предаваться размышлениям в уединении, созерцающая проплывающий за окном поезда индийский ландшафт, постигло сильное разочарование. На станции Кхарапур, первой остановке после Калькутты, к нему в купе

влезла группка школьников, которые атаковали его, размахивая пестрой коллекцией блокнотов: школьных тетрадок и стопок бумаг, сшитых вручную дома. Они хотели заполучить автографы, а один парнишка умолял Рабиндраната быстренько, пока поезд не тронулся, набросать новое стихотворение. Двигаясь в южном направлении, приблизительно раз в час они останавливались, и на каждой станции платформа оказывалась забитой людьми, прознавшими о том, что он едет в этом поезде. На одной из них в вагон вскарабкался старик. Он сложил руки в намасте, начал говорить что-то на языке, наминавшем телугу, закончил, отвесил глубокий поклон и удалился. На другой из толпы к окну поэта протиснулся мужчина с латунным подносом в руках, на котором лежали лимон, благовония и цветы. Он зажег благовония и окурил их дымом Рабиндраната, затем без единого слова растворился обратно в толпе. Один молещик просил, умолял, а потом и публично увещевал Рабиндраната остаться на ночь, чтобы окунуться в реку Годавари, «воды которой, — настаивал он, — священнее вод Ганги»¹. В Какинаде профессор английского языка, проживший какое-то время в Калькутте, заглянул, чтобы побеседовать с поэтом на сбивчивом бенгальском, но бросил эту затею, потому что забыл заученные фразы, однако, отчаянно желая все же одарить великого человека подходящим литературным напутствием, начал громовым голосом: «Пол-лиги, пол-лиги вперед!»² В Раджамандри к Тагору пришло двести студентов, чтобы сообщить, что он ошибся в дате и что они со вчерашнего дня ждали на станции его прибытия. Поэт сидел на своей полке, серый от усталости, прижатый к окну и заслоненный напиральной людской массой,

¹ *Ганга* — в русской традиции также Ганг; сейчас используются оба варианта, однако на санскрите, а затем хинди и других индийских языках название реки как воплощения индуистской богини — женского рода.

² Начало стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады».

Рой А.

Р 65 Жизни, которые мы не прожили : роман / Анурадха Рой ; пер. с англ. Т. Савушкиной. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. — 384 с. — (Большой роман).

ISBN 978-5-389-15836-8

На всю жизнь прилепилось к Чанду Розарио детское прозвище, которое он получил «в честь князя Мышкина, страдавшего эпилепсией аристократа, из романа Достоевского „Идиот“». И неудивительно, ведь Мышкин Чанд Розарио и вправду из чудачков. Он немолод, небогат, работает озеленителем в родном городке в предгорьях Гималаев и очень гордится своим «наследием миру» — аллеями прекрасных деревьев, которые за десятки лет из черенков превратились в великанов. Но этого ему недостаточно, и он решает составить завещание. Погрузившись в размышления над своим архивом, Мышкин перебирает ботанические журналы, заметки, дневниковые записи. Среди бумаг лежит таинственная бандероль, которую он долго не решался распаковать. И вот настало время узнать о том, что же произошло в 1937 году, когда мать Мышкина, талантливая художница, бросила мужа и маленького сына и уехала в далекие земли...

Впервые на русском языке!

УДК 821.111
ББК 84(5Инд)-44

Литературно-художественное издание

АНУРАДХА РОЙ
ЖИЗНИ,
КОТОРЫЕ МЫ НЕ ПРОЖИЛИ

Ответственный редактор Янина Жухлина
Редактор Элеонора Шорина
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Владимира Сергеева
Корректоры Валентина Гончар, Елена Шнитникова

Подписано в печать 25.03.2019. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 24. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в ООО «Тульская типография»
300026, г. Тула, пр. Ленина, 109

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



H-BRM-24248-01-R